

## ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ

### ВОСПОМИНАНИЯ О ФРАНЦЕ БРЕНТАНО\*

**Я** имел счастье слушать лекции Brentano только два года. Полными семестрами за это время были лишь зимние семестры 1884/85 и 1885/86 гг. Оба раза он читал пять часов в неделю курс по «практической философии» и к тому же, помимо философских семинаров, еще один или два часа в неделю курс по избранным философским вопросам. В соответствующие летние семестры он продолжал эти предназначенные исключительно для продвинутых студентов маленькие курсы, однако, завершал их уже в первую неделю июня. Первый из этих курсов под заглавием «Элементарная логика и необходимые в ней реформы» разбирал систематически связанные фрагменты дескриптивной психологии интеллекта, но при этом в отдельной главе также прослеживались параллели в сфере эмоций. Другой курс «Избранные психологические и эстетические вопросы» предлагал в общих чертах фундаментальный дескриптивный анализ сущности представлений фантазии. Примерно в середине июня он отправлялся на очень любимое им в то время озеро Вольфганг-Зее, куда я сопровождал его (в Сант-Гильген) по его дружескому приглашению. Именно в эти летние месяцы, когда мне было позволено в любое время посещать его гостеприимный дом и участво-

---

\* Воспоминания Э. Гуссерля были напечатаны вместе с воспоминаниями двух других учеников Brentano Оскара Крауса и Карла Штумпфа через два года после смерти философа в книге «Франц Brentano. Его жизнь и учение» (*Brentano F. Zur Kenntnis seiner Lebens und seiner Lehre*. München: Oskar Beck, 1919). Перевод сделан по этому изданию.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Brentano и его школа: развитие проблем сознания и интенциональности в феноменологии и аналитической философии XX в.» (№ 01-03-00280а). — *Прим. пер.*

вать в его небольших пеших и водных прогулках (даже в единственной большой загородной экскурсии обоих лет), я смог немного сблизиться с ним, насколько это позволяла значительная разница в возрасте и опыте. Я в это время как раз закончил свое университетское обучение и был еще новичком в философии (моей второй, неосновной специальности докторантуры по математике).

Во время нарастания моих философских интересов и колебаний относительно того, не должен ли я остаться верным математике как своему жизненному призванию или же должен посвятить себя целиком философии, брентановские лекции имели [для меня] решающее значение. Я посещал их поначалу из простого любопытства, чтобы однажды услышать человека, который в тогдашней Вене вызывал о себе так много разговоров, которого одни чрезвычайно высоко почитали и восторженно превозносили, другие бранили как замаскированного иезуита, краснбая, пустозвона, софиста, схоласта. Я был немало поражен первым впечатлением. Эта сухопарая фигура с мощной, обрамленной курчавой шевелюрой головой, энергичным, смело изогнутым носом, выразительными линиями лица, которые говорили не только о духовной работе, но о глубокой душевной борьбе, совершенно выбивались за рамки обычной жизни. В каждой черте, в каждом движении, в обращенном вверх и внутрь взгляде одухотворенных глаз, во всем способе держаться, выражалось сознание какой-то большой миссии. Язык лекций, законченный по форме, свободный от любых искусственных оборотов, от всех остроумных украшений, всех риторических фраз, был ничем иным как языком трезвой научной речи. Он в полной мере владел торжественным и артистическим стилем, который давал этой личности ей полностью соответствующее, естественное выражение. Когда он так говорил, в необычно мягком, негромком, приглушенном тоне, сопровождая речь жреческими жестами, он стоял перед молодыми студентами как провидец вечных истин и как вестник занебесного мира.

Недолго, несмотря на все предубеждения, я сопротивлялся силе этой личности. Вскоре я был увлечен вопросами, покoren совершенно особой ясностью и диалектической четкостью его высказываний, так сказать, каталептической силой его проблемных разработок и теорий. Прежде всего, из его лекций я почерпнул убеждение, которое дало мне мужество выбрать философию в качестве жизненного поприща, а именно убеждение, что философия также является сферой серьезной работы, что она может и тем самым также должна разрабатываться в духе строгой науки. Чистая

объективность, с которой он брался за все проблемы, способ их трактовки согласно апориями, тонкий, диалектический разбор различных возможных аргументов, разделение эквивокаций, сведение всех философских понятий к их первоисточнику в наглядном представлении — всё это наполняло меня восторгом и глубоким доверием. Тон истинной серьезности и чистейшей самоотдачи вещам запрещал ему в лекции любые дешевые остроты или шутки с кафедры. Он избегал даже любого рода остроумных антитез, языковое заострение которых с обычными абстрактными упрощениями обыкновенно подкупает. В свободном общении и в хорошем настроении он был, однако, чрезвычайно остроумен и мог блистать шутками и юмором. Наиболее сильным было его воздействие на забываемых философских семинарах. (Я припоминаю следующие темы: юмовское «Исследование о человеческом познании» и «[Исследование] о принципах морали»; речь Гельмгольца «Факты и восприятие»; [доклад] Дюбуа-Реймона «О границах познания природы»). Brentano был мастером сократической майевтики. Как он умел посредством вопросов и возражений направлять делающего первые неуверенные шаги неопита, придавать уверенность серьезно ищущему, помогать превращать неясные намётки забрезжившей истины в ясные идеи и прозрения. И с другой стороны, с каким превосходством он мог выводить из игры, не оскорбляя, пустых болтунов. После семинаров он обыкновенно брал с собой домой докладчиков и еще трех или четырех из наиболее усердных участников, где госпожа Ида Brentano готовила ужин. К повседневным разговорам при этом не переходили. Темы семинарских занятий продолжались, Brentano без усталости говорил дальше, ставя новые вопросы или открывая в целых выступлениях большие перспективы. Очень скоро, когда с едой было покончено, госпожа Ида исчезала, так трогательно заботясь о том, чтобы побудить стеснительных студентов свободно угощаться, о чем сам Brentano совершенно забывал. Однажды, видимо, случайно в это общество попал известный политик Е. ф. Пленер, близкий друг дома: но Brentano нельзя было отвлечь, в этот вечер он всецело принадлежал своим ученикам и занимавшей его теме дискуссии.

Brentano был открыт для общения со своими учениками. Он охотно приглашал [их] к общей прогулке, на которой обсуждал поставленные философские вопросы, совершенно не смущаясь уличным шумом большого города. Он самоотверженно заботился о своих учениках и становился им самым доброжелательным советчиком и наставником не только в научных, но также в личных проблемах. С теми, кого он считал своими

надежными друзьями, он говорил также о своих политических и религиозных убеждениях и о своей личной судьбе. От текущей политики он был далек, но ему была глубоко близка великогерманская идея (*großdeutsche Idee*) в смысле старых южно-немецких взглядов, в которых он вырос и которых, как и своей антипатии к Пруссии, он твердо придерживался. В этом отношении я никогда не мог согласиться с ним. По-видимому, прусский характер никогда не представал пред ним воочию в [своих] выдающихся личных и весьма ценных социальных проявлениях, между тем как сам я, в этом более удачливый, научился ценить его в полной мере. Соответственно ему не хватало также восприимчивости к подлинному величию прусской истории. Аналогичным образом обстояло дело с протестантизмом, к которому он, с выходом из католической церкви, ничуть не приблизился. От католической догмы он освободился как философ. Отношение к кругу идей протестантизма при этом не играло никакой роли. А проникновенное историко-политическое понимание и вытекающая отсюда оценка исторической ценности [исторического явления] здесь и, пожалуй, также в остальном были не в характере Brentano. О самом католицизме я не слышал, чтобы он говорил иначе, чем в тоне глубокого почтения. Он при случае с живостью защищал против лишенных понимания, пренебрежительных высказываний религиозно-этические силы, распространяющиеся благодаря католицизму. Впрочем, в философском отношении его связывало со старой церковью теистское мировоззрение, которое так глубоко волновало его, что он охотно шел на обсуждение вопросов о Боге и бессмертии. Его курс о доказательстве бытия Бога, читавшийся два часа в неделю, (фрагмент более обширного курса по метафизике, который он в более ранние годы читал как в Вюрцбурге, так и в Вене) был продуман очень тщательно. Он вновь приступал к работе над соответствующими проблемами, когда я как раз покидал Вену. Они преследовали его, как мне известно, вплоть до последних дней.

Но в эти годы его главным образом занимали частью те дескриптивно-психологические вопросы, которые были темой названных выше лекций, частью исследования по психологии чувств, которые были опубликованы лишь несколько лет тому назад и содержание которых осталось в моей памяти (по крайней мере, в основных чертах) из бесед в Вене и в Сант-Гильгене<sup>1</sup>. В лекциях по элементарной логике он разбирал осо-

---

<sup>1</sup> Гуссерль имеет в виду книгу Brentano: *Brentano F. Untersuchungen zur Sinnespsychologie*. Leipzig, Duncker und Humblot 1907. — *Прим. пер.*

бенно тщательно и, явно творчески развивая, дескриптивную психологию континуума с подробным ретроспективным обращением к болъцановским «Парадоксам бесконечного»,<sup>2</sup> а также занимался различием «наглядных и ненаглядных», «ясных и неясных», «отчетливых и неотчетливых», «собственных и несобственных», «конкретных и абстрактных» представлений. Следующим летом он предпринял попытку радикального исчерпывающего исследования всех дескриптивных моментов, явленных в самой имманентной сущности суждения, лежащих по ту сторону традиционных различий суждений. Непосредственно вслед за этим его целиком поглотили дескриптивные проблемы фантазии (в качестве темы одного отдельного курса, как уже упоминалось выше), в особенности при этом [его интересовало] отношение представлений фантазии и восприятия.<sup>3</sup> Эти лекции были увлекательны совершенно по-особому, поскольку они в ходе исследования высвечивали проблемы. Между тем лекции, к примеру, по практической философии (или даже по логике или метафизике, сжатыми конспектами которых я мог пользоваться), несмотря на критически-диалектическое изложение, имели в определенном смысле догматический характер, т. е. вызывали и должны были вызывать впечатление твердо установленных истин и окончательных теорий. На самом деле, Brentano всецело ощущал себя творцом *philosophia perennis*, таким всегда было мое впечатление как в то время, так и позднее. Непрестанно и с полной убежденностью добиваясь метода, удовлетворяющего высочайшим требованиям, так сказать, математической строгости, он верил, что он в своих четко отшлифованных понятиях, в своих прочно установленных и систематически упорядоченных теориях, в своем всестороннем апоретическом опровержении противных взглядов достиг удовлетворительной истины. Конечно, как бы решительно он не отстаивал свои концепции, он упрямо не держался за них, как я думал долгое время. Так, позднее он снова отказался от многих из любимых тезисов ранних лет. Он никогда не останавливался. Однако, глубоко проникновенный и часто гениальный в интуитивном анализе, он все же от-

---

2 Более поздние исследования Brentano по проблеме континуума опубликованы в книге: *Brentano F. Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und Kontinuum. Aus dem Nachlass mit Anmerkungen von Alfred Kastil, herausgegeben und eingeleitet von St. Körner und R. M. Chisholm. Hamburg, Felix Meiner Verlag 1976. — Прим. пер.*

3 Фрагменты этого курса опубликованы в сборнике: *Brentano F. Grundzüge der Ästhetik. Aus dem Nachlass herausgegeben von Franziska Mayer-Hillebrand. Bern: Francke Verlag, 1959. — Прим. пер.*

носителем быстро переходил от интуиции к теории: к установлению четких понятий, к теоретическому формулированию рабочих проблем, к конструкции системной совокупности возможностей решения, выбор между которыми следовало сделать благодаря критике. Таким образом, если я правильно оцениваю его философский характер, он имел на каждой фазе своего развития теории, одинаковым образом строго законченные, вооруженные фалангой продуманных аргументов, с которыми он мог бы чувствовать себя не уступающим всем чужим учениям. Он питал мало почтения к мыслителям, подобным Канту, и посткантовским немецким идеалистам, у которых ценности изначальной интуиции и предвосхищающего прозрения стоят несравнимо выше ценностей логического метода и научной теории. То обстоятельство, что философский мыслитель мог быть оценен очень высоко, даже если его теории, строго говоря, являются ненаучными, и даже если его базовые понятия почти все оставляют желать лучшего в «ясности и отчетливости»; что его величие вместо логического совершенства его теорий могло бы также заключаться в оригинальности выдающихся, пусть смутных, слабо разъясненных фундаментальных интуиций, и, следовательно, в предлогических, лишь подступающих к логосу целевых устремлениях, короче, в совершенно новых и для целей всей философской работы решающих мыслительных *мотивах*, которые еще далеки от того, чтобы отражаться в теоретически строгих усмотрениях: это Brentano едва ли смог бы признать. Он полностью отдался суровому идеалу строгой философской науки (который виделся ему в точном естествознании) и рассматривал системы немецкого идеализма через призму [концепции] деградации. В своем начале полностью направляемый Brentano, я сам только позднее пришел к убеждению, которое в настоящее время разделяют столь многие исследователи, размышляющие о строго научной философии. Идеалистические системы — в принципе не иначе, как и все предыдущие философские учения открытой Декартом эпохи — должны рассматриваться, скорее, с точки зрения молодой незрелости, но и в таком случае также должны быть оценены весьма высоко. Пусть Кант и другие немецкие идеалисты также предлагают мало удовлетворительного и приемлемого для научно строгой обработки властно двигавших ими проблемных мотивов. Но тот, кто способен действительно понять эти мотивы и вжиться в их интуитивное содержание, уверен, что в идеалистических системах пробилось на свет совершенно новое и наирадикальнейшее проблемное измерение философии, и только с его объяснением и с формированием метода, которого

требует его своеобразный характер, философии откроются ее последние и наивысшие цели.

Впрочем, сколь бы велика не была превосходная и достойная восхищения сила Brentano в логическом теоретизировании, исключительное и еще далеко не завершенное влияние его собственной философии основывается, в конечном счете, все же на том, что он сам как оригинальный мыслитель черпал вдохновение из оригинальных источников интуиции, и тем самым обеспечил новыми плодоносными мотивами ставшую непродуктивной немецкую философию 70-х годов. В каких объемах сохраняться его методы и теории, решать не здесь. В питательной среде других умов эти мотивы в любом случае взошли по-иному, чем у него, но тем самым была доказана их изначальная плодоносная жизненность. Однако это не принесло ему радости, так как он, как сказано, был уверен в своей философии. На самом деле, его уверенность в себе была абсолютной. Внутренняя уверенность в том, что он находится на правильном пути и закладывает основы единственной в своем роде научной философии, была лишена у него каких-либо колебаний. Он чувствовал себя призванным и изнутри, и свыше детальнее развивать эту философию в рамках систематических принципов, которые ему представлялись уже достоверными. Это совершенно свободное от сомнений убеждение в своей миссии я бы хотел прямо обозначить как исходный факт его жизни. Без него нельзя понять личность Brentano и поэтому без этого также справедливо ее оценить.

Так, прежде всего, становится понятным как много для него значила углубленная педагогическая практика, даже в хорошем смысле слова его школа: не только для распространения полученных достижений, но также для продолжения работы над его идеями. Правда, он был чувствителен к любому отклонению от установленных им убеждений. В случае, если против них выдвигались возражения, он оживлялся, замирал при долго взвешиваемых формулировках и апоретических обоснованиях, и победоносно утверждался благодаря своей мастерской диалектике, которая все же могла оставлять у возражавшего чувство неудовлетворенности, если этот возражавший прибегал к противостоящим изначальным интуициям. Никто сильнее его не прививал самостоятельное свободное мышление, но он также с трудом переносил, когда оно обращалось против его собственных, твердо укоренившихся убеждений.

С уверенностью, что он является первооткрывателем новой философии, была связана, несомненно, большая (и для меня в то время мало-

понятная) значимость, которую Brentano придавал повторному получению его ординарной профессуры в Вене. Он много говорил о надеждах, которые ему постоянно заново открывались теми обещаниями, которые давались ему и никогда не выполнялись<sup>4</sup>. Для него была трудно выносимой именно невозможность более руководить докторскими работами и защищать [их] на факультете, и тем более то обстоятельство, что он был вынужден пассивно наблюдать за габилитациями малоподходящих на его взгляд приват-доцентов. Он часто с горечью высказывался об этом. Его преподавательская деятельность, конечно, страдала при таких отношениях (не говоря уже о добровольном ограничении его летних лекций), [но] он, как и прежде, оказывал определяющее влияние не только в Вене, но и во всей Австрии. Его прекрасные, даже классически исполненные лекции по практической философии посещались каждую зиму сотнями юристов первого семестра и слушателями всех факультетов. Правда, через несколько недель большое число [слушателей] значительно сокращалось, поскольку регулярное соучастие, которое было здесь необходимым, не могло быть уделом каждого. Впрочем, из этих лекций снова и снова на его семинары приходили одаренные молодые люди и подтверждали тем самым, что его старания не пропали даром.

Он много жаловался в эти годы на свои слабые нервы, также в Сант-Гильгене, который должен был их укрепить. Свой отдых от интенсивной духовной работы он все время искал в других не менее интенсивных, с не меньшим пылом исполняемых занятиях. Он слыл в венском шахматном клубе особенно вдумчивым игроком (слишком вдумчивым, говорили мне, и уж слишком нацеленным на достижение одной ведущей идеи, чтобы можно было часто достигать успеха) и мог, временами, совершенно растворяться в азартной игре. В другое время он занимался резьбой или рисовал и чертил, всегда пылко предаваясь своему занятию. Он должен был всегда что-то делать. В совместной поездке в Сант-Гильген он вскоре вынул свои практичные, собственноручно вырезанные шахматы и затем азартно проиграл в них всю длинную дорогу. В Сант-Гильгене он охотно принимал участие в портретных зарисовках своей жены, которая была хорошим художником, внося поправки или по ходу дела полностью беря ее картины в свои руки. Но затем, правда, она снова должна была

---

4 Brentano описал перипетии с его повторным назначением на должность ординарного профессора Венского университета в брошюре: *Meine letzten Wünsche für Österreich*. Stuttgart: JG Golta, 1895. — *Прим. пер.*



помогать и многое поправлять вновь. Так в 1886 году он вместе со своей женой нарисовал меня. «Милая картина», как отозвался Теодор Фишер, историк искусства с тонким вкусом. С тем же самым пылом он занимался в Сант-Гильгене после обеда игрой в бочче (в «саду», в части лужайки позади арендованного близ озера домика). К горным турам он был не расположен вовсе, он любил лишь умеренные прогулки. Его образ жизни в Сант-Гильгене, а также в Вене был очень простым. Впрочем, не требовалось долгого знакомства с ним и наблюдения над его укладом жизни, чтобы ощутить смехотворность пересудов, что он женился на своей первой жене из-за ее богатства. Он вообще не был устроен для наслаждения богатством, для роскоши, хорошей пищи, пышной жизни любого рода. Он не курил, ел и пил очень скромно, особо не разбирая. Все же часто присутствовавший в их доме во время трапезы, я никогда не слышал от него высказывания о блюдах или напитках, и не замечал, чтобы он при этом что-то смаковал. Когда мы прибыли в Сант-Гильген немного раньше его жены и должны были питаться на довольно плохом постоялом дворе, он был всегда доволен, вовсе не сознавая особой разницы, постоянно занятый своими мыслями или беседами. Он так же заказывал только самые простые блюда, и так же в дороге, если он ехал один, он довольствовался самым низким классом. И точно так же он относился к своей одежде, которая была простой и часто поношенной. Экономный во всех этих отношениях, касавшихся его собственной персоны, он был все же щедр, когда мог чем-либо сделать добро другим. В своей индивидуальной манере в отношении молодых он был, с одной стороны, хотя и исполнен достоинства, с другой стороны, чрезвычайно благосклонен и добр, непрестанно заботясь о поддержке их научного образования, а также об их этической личности. Невозможно было полностью не уступать этому высокому руководству и не чувствовать постоянно его облагораживающей силы, даже находясь вдали от него. Даже в его лекциях тот, кто однажды отдался ему, был не только глубочайшим образом захвачен теоретически существом дела, но [вместе с тем также] чистым этосом его личности. А как он мог проявлять себя с личной стороны! Для меня незабываемы тихие, летние вечерние прогулки у Вольфганг-Зее, в которых он часто в свободной беседе позволял переходить на самого себя. У него была детская открытость, как вообще у него были детские черты гения.

Я обменялся с Brentano не очень многими письмами. В ответе на мое письмо, в котором я просил его принять посвящение ему моей «Философии арифметики» (моей первой философской работы), он тепло побла-

годарил меня, но серьезно отговаривая от этого шага: я не должен привлекать на себя злобу его врагов. Все-таки я посвятил ему эту работу, но на отправленный [ему] экземпляр с посвящением я не получил никакого дальнейшего ответа. Только через 14 лет Brentano заметил, что я действительно посвятил ему работу и поблагодарил на этот раз теплыми сердечными словами. Он явно ознакомился с ней не детально или лишь в своей манере «читать поперек». Он стоял от меня, естественно, слишком высоко, и я очень хорошо понимал его, чтобы меня это ощутимо задело.

То обстоятельство, что [между нами] не развернулась оживленная переписка, имело глубокие основания. Поначалу его восторженный ученик, я был, однако, не в состоянии оставаться членом его школы, хотя я никогда не переставал высоко почитать его как учителя. Но я знал, как сильно это волновало его, когда [его ученики] шли собственными, пусть исходящими от него путями. Он мог тогда легко стать несправедливым, и это также случилось по отношению ко мне, что было мучительно. Кроме того, тот, кто движим изнутри неясными и все же неодолимыми мыслительными мотивами, или пытается дать удовлетворение еще понятийно неопределенным интуициям, с которыми не согласуются имеющиеся теории, будет неохотно открываться тому, кто в своих теориях устоялся, и уж совсем неохотно такому логическому мастеру, как Brentano. Человеку хватает мук собственной неопределенности и для его логической несостоятельности, которая как раз является движущим мотивом для ищущего мышления, не требуется никаких новых доказательств и никаких диалектических опровержений. То, что они предполагают: методы, понятия, законы, должно быть, к сожалению, взято под подозрение и сначала выключено как сомнительное, а то обстоятельство, что невозможно ясно выразиться и также самому ничего достаточно ясно и определенно утверждать, как раз и есть несчастье. Так происходило с моим становлением, и так объясняется определенное отдаление, если даже не личное отчуждение от моего учителя, которое в дальнейшем также столь затруднило научные контакты. В этом, как я должен откровенно признать, никогда не было его вины. Он повторно приложил усилия, чтобы вновь завязать научные отношения. Он, вероятно, чувствовал, что мое глубокое почитание его в эти десятилетия никогда не убывало. Напротив, оно только росло. Именно в поступательном движении своего развития я учился все выше и выше ценить силу и значение воспринятых от него импульсов.

В качестве приват-доцента я посетил его однажды в летние каникулы в Шёнбюле на Дунае. Он незадолго до этого купил «Таверну», которая

теперь должна была быть перестроена для проживания. Незабываема ситуация, в которой я застал его. Подходя к дому, я увидел группу каменщиков, среди них худощавого высокого мужчину в свободной рубашке, забрызганных известью штанах и в шляпе с опущенными полями, орудующего подобно другим мастерком: итальянский рабочий, какого в ту пору можно было повсеместно встретить на улицах и переулках. И это был Брентано. Он дружески встретил меня, показал мне свои проекты перестройки, пожаловался на неспособных строителей и каменщиков, которые вынудили его все брать в свои руки и самому участвовать в работе. Прошло немного времени и мы были погружены в философские дискуссии, при этом он все время не снимал этого наряда.

Я видел его вновь лишь в 1908 году во Флоренции, в его уютно обустроенной квартире на Via Bellosguardo. Об этих днях я могу вспоминать лишь с умилением. Как он растрогал меня, когда почти слепой разъяснял с балкона ни с чем несравнимый вид на Флоренцию и ландшафт, или вел меня и мою жену красивейшим путем в обе виллы, в которых когда-то жил Галилей. В его внешнем виде я нашел, в сущности, мало изменений, только поседели волосы и глаза утратили свой блеск и прежнее выражение. И все же, даже теперь как много говорили эти глаза, какое просветление и упование на Бога. Естественно, очень много говорилось о философии. Какой радостью наполнила его сердце возможность снова изъясняться по-философски. Он, для кого серьезное влияние в качестве наставника было жизненной потребностью, был вынужден оставаться во Флоренции в одиночестве, не в состоянии развить там личную активную деятельность, и уже был счастлив тем, если однажды с севера приезжал кто-то, кого он мог слушать и понимать. В эти дни мне казалось, будто десятилетия со времени моей учебы в Вене развеялись как сон. Я снова чувствовал себя по сравнению с ним, превосходным и мощным духом, нерешительным учеником. Я охотнее слушал, чем говорил сам. И как значительно, красиво построенная и во всех частях твердо оформленная, текла тогда его речь. Однажды, однако, он хотел послушать сам и дал мне возможность, не прерывая меня возражениями, связно сообщить смысл феноменологического способа исследования и моей тогдашней борьбы против психологизма. Согласие достигнуто не было. Возможно, вина отчасти лежала на мне. На меня давило внутреннее убеждение, что он в неизменном стиле своего способа рассмотрения, с устойчивой конструкцией своих понятий и аргументов более не способен адаптироваться в достаточной мере, чтобы понять необходимость преобразований его базовых интуиций, на которые я считал себя вынужденным пойти.

Ни малейший диссонанс не омрачил эти прекрасные дни, в которые также его вторая супруга Эмили выказывала нам всевозможное дружеское расположение. Именно она столь благотворным и преисполненным любви образом заботилась о годах его старости и поэтому прекрасно вписалась в картину его тогдашней жизни. Он хотел как можно больше быть вместе со мной, он сам чувствовал, что моя благодарность за то, чем он был для меня благодаря его личности и живой силе его учения, была неизгладимой. Он стал в своем возрасте еще живее и мягче, я не нашел в нем ожесточившегося старца, которому его первая и вторая родина предоставила слишком уж незначительную поддержку и отплатила неблагодарностью за его большое дарование. Все время он жил в своем идеальном мире и в окончательном совершенствовании своей философии, которая, как я сказал, в течение десятилетий получила значительное развитие. Над ним витала атмосфера преображения, как будто бы он не слышал более этого мира и как будто бы он наполовину уже жил в том высшем мире, в который он так твердо верил, и философское толкование которого в теистских теориях так сильно занимало его также в это позднее время. Последний его образ, запечатленный мной тогда во Флоренции, глубоко запал в мою душу: так отныне он продолжает жить во мне всегда, образ из высшего мира.

Перевод с немецкого *Р. Громова*